Е. АНАНЬИН

Вячеслав Иванов (встречи и воспоминания)

Мне довелось знать этого оригинального человека лишь на закате его жизни. Но этот «закат» длился долго: ему было около 60 лет, когда он выбрался из сов. России в Италию, где он получил профессуру в католическом колледже Борромео в Павии, откуда он переселился вскоре в Рим, где и скончался около двух лет назад в глубокой старости (ему было около 84 лет).

Я знал его не по поверхностным встречам, но в постоянном долголетнем общении, в домашнем кругу: знал его, конечно, постольку, поскольку вообще можно было знать эту «загадочную» натуру. Как сейчас помню наше первое знакомство в публичной библиотеке в Риме, где я корпел над моими фолиантами. Заметив его несколько сгорбленную фигуру и эти незабываемые пряди белоснежных волос, которые делали его столь похожим на Моммзена, я подошел к нему и представился.

— А, так это вы, — сказал он. Подумайте, всего несколько дней тому назад, Формики (знаменитый индолог и вице-президент Королевской Академии) [1] спрашивал меня, знаю ли я вас, и очень удивился, получив отрицательный ответ (это были годы, когда я готовил «в поте лица» мою итальянскую монографию о Пико делла Мирандола[2], за которую получил премию именно от этой Академии). Ну, надо нам познакомиться. Заходите как можно скорей!

Жил он в то время в меблированной квартире на Виа Грегориана, улице сравнительно тихой, усеянной католическими колледжами и аристократическими пансионами. Это была наша первая встреча, остальные уже происходили в другой кварти-

ре, расположенной в доме «повисшем» над Тарпейской скалой у подножия Капитолия. В этом доме долго жила Элеонора Дузэ[3]. Он был снесен во время знаменитой фашистской «реставрации» Рима.

Квартирка была тесная и неудобная, но полна теней минувшего. Под окном — храмы и колонны форума. Эта атмосфера была нужна В. И.: подальше от трескотни и шума, поближе к римским святыням. Рим (который он посетил впервые еще в прошлом веке) был для него ценен в своем двояком аспекте: и как центр мировой империи, и как колыбель католической религии, которую он исповедовал.

И тут и там он устраивал столь дорогую ему «всемирность», и универсальность, то что он называл ***соборностью;*** любил цитировать знаменитую анаграмму: *«Roma — Amor»,* вышедшую из-под пера неизвестного сочинителя средних веков. В противовес этому, у него была какая-то органическая антипатия ко всему, что пахло индивидуализмом, ко всему, что разрушало эту соборность: будь это реформация, французская революция, итальянский Рисорджименто или, наконец, современный строй с его «формальной демократией», парламентами и т. д.

Любимая им Греция была не «Парфенон», а Эсхил, дорический стиль, та неизвестная, мистическая Греция, которую любил Гёльдерлин, в тайны которой проник Ницше. В итальянском Ренессансе он чуял как бы синтез классической мудрости и просвещенного христианства, Рафаэль ему казался высшей точкой, апофеозом этого счастливого соединения. Все, что не входило в эту схему, он отбрасывал, отказывался видеть. У него это была *вера*... Ненавидя всякого рода рационализм, скептицизм и пр., все «безбожие» новой Европы, он однако не грозил ей «отверстыми небесами» и Апокалипсисами, как одно время делал Бердяев.

Его религия была чем-то светлым, без тени изуверства, и он именовал свое кредо, следуя некоторым мыслителям Ренессанса «докта пиэтас»[4], в которой религиозная интуиция сочеталась гармонически с античной философией. Платон был дня него предшественником Христа. Эта мысль навеяна ему была, м. б., его учителем Влад. Соловьевым, которого он очень высоко ценил.

Ни история, ни философия в сущности не были его сферой.

Будучи учеником Моммзена, он забросил первую очень рано: «Это было не для меня», говорил он откровенно, его влекло к филологии и литературе. Что касается философии, он «покаялся»

однажды, что якобы «ничего не понимает в ней», что вызвало бурную реплику одного близкого ему лица: «Inder Beschränkung zeigtsicherst der Meister» (Фауст) [5]. Этот дар «самоограничения» нисколько не мешал ему быть, в отличие от большинства своих соратников и учеников (символистов), человеком редкой эрудиции и почти энциклопедической культуры.

Стал он поэтом, как сам рассказывал, довольно поздно, под влиянием своей жены, Зиновьевой-Аннибал, портрет которой всегда украшал его кабинет. Здесь не место говорить о его поэзии, почти целиком относящейся к дореволюционному периоду, исключая «Римские сонеты», — долг, отданный им его любимому Риму. Не имея их под рукой, я приведу здесь лишь последнюю строфу одного из них:

«Здесь к Гоголю ходил Иванов
Здесь Пиранези огненной иглой
Пел Рима грусть и зодчество титанов».

Истинной областью его творчества была литература. В своих суждениях о разных писателях он обнаруживал редкий, на мой взгляд, прямо безошибочный вкус.

В общем, он не любил «романтиков», не любил «пафоса», «пухлости», расплывчатости, громких и звонких фраз.

И тут сказывалась его любовь к мнимой «простоте», античности, к сдержанности, к четким линиям, к устойчивым горизонтам, хотя бы все это покупалось порой ценой известной сухости и иногда бескрылости. Его религиозные взгляды не играли ни малейшей роли в этих его оценках. Он очень любил «вольнодумствующего» Вольтера, которого предпочитал морализующему Руссо, который припахивал, как он говорил, женевским кальвинизмом, швейцарскими лугами и коровами. Любил А. Франса, несмотря на его скептицизм, и Андре Жида, но плохо выносил П. Клоделя, мало льнул к бурному Верхарну, недолюбливал Ромэн Роллана.

В писателях он не любил то, что он именовал, по своей своеобразной терминологии, ***«моралином»***. Толстому он решительно предпочитал Достоевского, о котором выпустил уже в эмиграции книгу по-немецки. Вспоминается один вечер в его квартире, где Т. Л. Толстая-Сухотина[6] читала свои воспоминания об отце. В. И. слушал внимательно, как-то насторожившись, изредка прерывая чтицу каким-нибудь вопросом.

Вскоре после этого, в один другой вечер, речь зашла о Толстом и об Анне Карениной. «Ну скажите, — воскликнул В. И., — этот эпиграф («Мне отпущение и Аз воздам»), ***кто*** по вашему этот Аз? Ведь это же он сам, Лев Николаевич! Это ***его*** карающая десница! Ведь когда мы читаем Т., все персонажи настолько нам делаются фамильярными, настолько мы с ними свыкаемся, что можем заранее сказать, что с ними произойдет, и как они будут вести себя при таких-то обстоятельствах. И вдруг, этот неправдоподобный конец: бросается под поезд! А почему? Это нужно было ее творцу, чтоб покарать грех и преступление! "Моралин", дорогой мой»!

В Толстом ему претил его «евангелизм», его рационализирование христианства, какая же это религия без чуда, без мистики?

Я не знаю, какими путями Иванов пришел к католичеству, но приняв его, он принял все в нем, без оговорок и исключений. В молодости он был атеистом, как и его отец, московский землемер, и даже революционером: рассказывал, как он фабриковал взрывчатые вещества...[7] Трудно было поверить этому, так мало это вязалось с его последним образом, с тем В. И., которого я знал.

Есть люди религиозные, без всякого так сказать, мотива: это ***так***, потому что так, догма Св. Троицы для них так же непосредственно ясна (или неясна) как положение: дважды два четыре. В. И. был слишком сложной натурой, чтобы верить так, по-простецки и без «доказательств». «Мотивы» ему нужны были, мотивы характера психологического.

Однажды он меня позвал в свой кабинет, поговорить «наедине»: оказывается он пришел к смирению и послушанию, которого особенно требует Римская Церковь именно потому что, как он выразился: «Я *гордый* человек». Тут было нечто от Достоевского. «Смирение» явилось преодолением этой «гордыни», но он не отказался от культуры во имя религии, не разуверился в ней, как его покойный друг М. Гершензон: его «докта пиэтас» была симбиозом веры и знания: прототипами такого мировоззрения можно назвать Платона, отцов церкви, Вл. Соловьева. Как у этого последнего, «эрос» играл в ней большую роль.

В его религии абсолютно отсутствовали всякие аскетические мотивы, всякое «отрицание мира»: высшие ценности гармонизировали в какой-то плоскости с обыкновенными вещами: В. И. был человек «от мира сего». Вряд ли близки были ему трагические испытания первых христиан, земная жизнь представлялась ему может быть горьким, но также и радостным событием. В ней

было столько прекрасных, «вкусных» вещей, которые он любил: эта страстная (при всем его кажущемся бесстрастии), сильная любовь к жизни позволила ему по всей вероятности, пройти через все горнила испытаний и дожить до глубокой старости, в то время как все его соратники и ученики, более молодые, погибли по большей части «во цвете лет».

Мир без Бога казался ему пустым: еще в Москве он убеждал, в публичных диспутах с Луначарским, в необходимости божественного начала (это было до основания пресловутого «союза безбожников»). Его отвращало от большевиков не столько Че-Ка, не столько их зверства и жестокости, сколько их «безбожие». «Ах, — вздыхал В. И., — я мог бы их принять, если б не их борьба против религии!»

Любовь к «тварям земным» сказывалась в его «любопытстве» к людям. Когда он всматривался испытывающе и как-то исподтишка своими медвежьими глазками в лицо особенно нового собеседника, всегда казалось, что у него было как-то неотразимое желание «прощупать» его, проникнуть в какие-то его тайные фибры, разгадать его «стиль», схватить у самых истоков формацию мнений, чувств и переживаний.

Не знаю, любил ли он людей, но он был до них «жаден»: в разных лицах его интересовали даже всякие мелочи, которые, грешный человек, мне казались совершенно неинтересными пустяками. Не всякий однако имел доступ к нему: нужен был известный «стаж». Однажды я привел к нему французского журналиста Жана Шюзвилля, который знал массу языков и переводил со всех, в том числе с русского. В молодости Шюзвиль жил в Москве, в квартире Брюсова, но по странной случайности, не был знаком с В. И., салон которого, как известно, был в Петербурге. Почему-то в этот вечер, он был в каком-то особом «остром» настроении и довольно долго поддразнивал француза, принимая его чуть не за демократа. (В это время нацистская угроза повисла над Европой!). «Ах бедняцкие демократии, как вас обижают эти “ужасные” “диктаторы”!». Шюзвиль отбояривался как умел, и впечатления у него остались от этого вечера не особенно добрые[8]. Разговор шел по-французски: В. И., будучи замечательным полиглотом, говорил прекрасно на многих языках, но как-то слишком по-книжному, несколько вычурно, слишком изысканно: видно было, что ему редко приходилось входить в общение с простым людом, с торговцами овощей или кучерами.

У него была затем привычка, как у многих живших долго вне России, переходить частенько с русского на иностранные: иногда вдруг появлялась какая-нибудь цитата по латыни, а то проскальзывала даже тирада по-гречески (из Эсхила напр.). Тем не менее «русский» его был очень красив, теплый, мягкий, слегка певучий: коротко говоря язык «московских просвирен». В. И. был очень рад знакомству с А. В. Неклюдовым, бывшим посланником в Софии и Стокгольме, автором замечательных «Старых портретов»[9]. Частенько бывали у Иванова по вечерам Мережковский и З. Гиппиус. Автор «Леонардо» посещал в это время периодически Муссолини, и интервьюировал его, живя в великолепном отеле, в одном из лучших кварталов Рима: известно, что Муссолини неплохо оплачивал посвященные ему апологии его «гения».

— Был вчера Мережковский, — рассказывал не без иронии В. И. — видел, говорит, сегодня самого Цезаря![10] (Знаменитому писателю было чуждо всякое чувство смешного.)

Воспоминания, которым иногда В. И. предавался, переносили вас куда-то далеко в девяностые годы, так далеко от надвигавшейся грозы, что Моммзен, Ренан, которого он видел еще в Париже, казались какими-то нереальными призраками, вызванными из канувшего в вечность прошлого.

Старость не сломила этого человека, не изуродовала, годы прибавили какую-то новую черточку красоты к его оригинальному лицу: к старости он как-то одолел казалось мне, свой «гнев» и свою «гордость», стал тише, смиреннее, как будто успокоился и со всеми примирился. В его природе было заложено какое-то чувство гармонии и примиренчества, которое не всем дано. Известно, что в начале большевистской революции он коренным образом разошелся со своими друзьями Белым и Блоком. Вспоминая А. Белого, он сказал однажды по-немецки: «Eswarkein *Genie,*aberdochein *genialer Mensch*»[11]. (Это тонкое различение невозможно передать по-русски). Его поэма о «Человеке», написанная в последние годы его жизни[12], есть как бы конденсированное в стихах восприятие им (окончательное!) мира, людей, Бога. Мне вспоминается, к сожалению, лишь единая строчка из нее: *«Я в море бросил мой алмаз!»* [13]. Как бы сказать: я растворился в человеческом море! «Соборность», о которой он твердил всю жизнь!

Меня не было в Риме, когда смерть в 1950 г. застигла его[14]. Газеты сообщали, что его кончина произвела «ошеломляющее

впечатление» на литературные и артистические круги столицы. На похоронах было очень много людей. На этот раз тут не было обычного газетного преувеличения: все, кто входил с ним в соприкосновение, испытали на себе эту лучащуюся из старых глаз «мудрость», как когда-то Блок, многие звали его «маэстро».

В прошлом году я посетил его осиротевшую семью. Меня провели в его кабинет, из которого в последние годы жизни, пораженный флебитом, он почти не выходил. Сын В. И. сказал мне, что его отец за несколько дней *знал*, что все кончено. Может быть, это *знание* было ему дано. Его жизнь представляется мне какой-то длинной прямой линией, без зигзагов, без особых порывов, без очарований, словно ведомой каким-то неизвестным инстинктом. Такого рода инстинкт присущ животным, мудрецам и богам. Все происходило в свое время: наука, поэзия, люди, молодость, старость, жизнь и смерть.

Быть может, он был «преждевременно» стар и «опытен» и прозорлив, но старость его была «молодая»: спокойная, но не иссушенная, не подточенная, мудрая, как старость Гете. Он пережил все поколение «символистов», угас позже всех. Большинство из них были только поэты, он был ***больше*** этого.

1952